Миссис Дэллоуэй

Автор:
Вирджиния Вулф

Миссис Дэллоуэй

Вирджиния Вулф

Эксклюзивная классика (АСТ)

Одно из самых изысканных литературных произведений XX века. Шедевр «золотого века» английского модернизма, впервые опубликованный в 1925 г. Роман, входящий в список «100 лучших книг XX века», по версии Times.

На поверхности в «Миссис Дэллоуэй» происходит очень немногое – немолодая светская дама готовится к приему гостей, мужчина, который когда-то в юности любил ее, возвращается в Лондон после долгой отлучки, молодой ветеран Первой мировой все глубже погружается в черную трясину «военного синдрома». Однако содержание романа далеко не ограничивается ни его сюжетом, ни даже блистательностью изощренной формы, – здесь важно не то, что персонажи говорят или делают, а то, что при этом думают и чувствуют…

Вирджиния Вулф

Миссис Дэллоуэй

Virginia Woolf

MRS. DALLOWAY

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с английского Е. Суриц

Серийное оформление и дизайн обложки Е. Ферез

© Перевод. Е. Суриц, наследники, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать; придут от Рампльмайера. И вдобавок, думала Кларисса Дэллоуэй, утро какое – свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже.

Как хорошо! Будто окунаешься! Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в Нортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас, конечно, ранний, утренний воздух; как шлепок волны; шепоток волны; чистый, знобящий и (для восемнадцатилетней девчонки) полный сюрпризов; и она ждала у растворенной двери: что-то вот-вот случится; она смотрела на цветы, деревья, дым оплетал их, вокруг петляли грачи; а она стояла, смотрела, пока Питер Уолш не сказал: «Мечтаете среди овощей?» Так, кажется? «Мне люди нравятся больше капусты». Так, кажется? Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии, в июне, в июле, она забыла, когда именно, у него такие скучные письма; это слова его запоминаются; и глаза; перочинный ножик, улыбка, брюзжанье и, когда столько вещей безвозвратно ушло – до чего же странно! – кое-какие фразы, например про капусту.

Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. Прелестная женщина, подумал про нее Скруп Певис (он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в

Вестминстере); чем-то, пожалуй, похожа на птичку, на сойку; сине-зеленая, легонькая, живая, хоть ей уже за пятьдесят и после болезни она почти совсем поседела. Не заметив его, очень прямая, она стояла у перехода, и лицо ее чуть напряглось.

Потому что, когда проживешь в Вестминстере – сколько? уже больше двадцати лет, – даже посреди грохота улицы или проснувшись посреди ночи, да, положительно – ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину (но, может быть, все у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюэнцы) перед самым ударом Биг-Бена. Вот! Гудит. Сперва мелодично – вступление; потом непреложно – час. Свинцовые круги побежали по воздуху. Какие же мы все дураки, думала она, переходя Виктория-стрит. Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять; но и самые невозможные пугала, обиженные судьбой, которые сидят у порога, совершенно отпетые, заняты тем же; и потому-то, бесспорно, их не берут никакие постановления парламента: они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; грохот, клекот, рев автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэроплана, – вот что она так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня.

Да, середина июня. Война кончилась, в общем, для всех; правда, миссис Фокскрофт вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит и загородный дом теперь перейдет кузену; и леди Бексборо открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца; но война кончилась; кончилась, слава Богу. Июнь. Король с королевой у себя во дворце. И повсюду, хотя еще рань, все звенит, и цокают пони, и стучат крикетные биты; «Лордз», «Аскот», «Рэниле» и всякое такое; они еще одеты синеватым, матовым блеском утра, но день, разгулявшись, их обнажит, и на полях и площадках будут ретивые пони, они тронут копытцами землю, и поскачут, поскачут, поскачут лихие наездники и в веющей кисее хохотуньи-девчонки, которые протанцевали ночь напролет, а сейчас выводят потешных пушистых собачек; и уже сейчас, с утра пораньше, скромно-царственные вдовицы мчат на своих лимузинах по каким-то таинственным делам; а торговцы возятся в витринах, раскладывают подделки и бриллианты, прелестные зеленоватые броши в старинной оправе на соблазн американцам (но не надо транжирить деньги, сгоряча покупать такие вещи Элизабет), а она сама, любя все это нелепой и верной любовью и даже причастная ко всему этому, ибо предки были придворными у Георгов, – сама она тоже сегодня зажжет огни: у нее сегодня прием. А странно, в парке – вдруг – какая тишина; жужжанье; дымка; медленные, довольные утки; важные зобатые

аисты; но кто же это шествует, выступая, как ему и положено, на фоне правительственных зданий, держа под мышкой папку с королевским гербом, кто как не Хью Уитбред, старый друг Хью – дивный Хью!

– День добрый, Кларисса! – сказал Хью чуть-чуть чересчур, пожалуй, изысканно, учитывая, что они друзья детства. – Чему обязан?

– Я люблю бродить по Лондону, – сказала миссис Дэллоуэй. – Нет, правда. Больше даже, чем по полям.

А они как раз приехали – увы – из-за докторов. Другие приезжают из-за выставок; из-за оперы; вывозить дочерей; Уитбреды вечно приезжают из-за докторов. Кларисса сто раз навещала Ивлин Уитбред в лечебнице. Неужто Ивлин опять заболела? «Ивлин изрядно расклеилась», – сказал Хью, производя своим ухоженным, мужественным, красивым, превосходно драпированным телом (он всегда был почти чересчур хорошо одет, но, наверно, так надо, раз у него какая-то там должность при дворе) некий маневр – вздувания и сокращения, что ли, – и тем давая понять, что у жены кой-какие неполадки в организме, нет, ничего особенного, но Кларисса Дэллоуэй, старинная подруга, уж сама все поймет, без его подсказок. Ах да, ну конечно, она поняла; какая жалость; и одновременно с вполне сестринской заботой Кларисса странным образом ощутила смутное беспокойство по поводу своей шляпки. Наверное, не совсем подходящая шляпка для утра? Дело в том, что Хью, который уже спешил дальше, изысканно помахивая шляпой и уверяя Клариссу, что ей на вид восемнадцать лет и, разумеется, разумеется, он к ней сегодня придет, Ивлин просто настаивает, только он слегка опоздает из-за приема во дворце, ему туда надо отвести одного из мальчишек Джима, – Хью всегда чуть-чуть подавлял ее; она рядом с ним чувствовала себя как школьница; но она к нему очень привязана; во-первых, знакомы целую вечность, и к тому же он, в общем, вполне ничего, хотя Ричарда он доводит чуть не до исступления, ну а Питер Уолш, так тот по сей день ей не может простить благосклонности к Хью.

В Бортоне были бесконечные сцены. Питер бесился. Хью, конечно, никоим образом ему не чета, но уж и не такой он болван, как Питер изображал; не просто разряженный павлин. Когда старушка мать просила его бросить охоту или отвезти ее в Бат, он без слова повиновался; нет, правда же, он совсем не эгоист, а насчет того, что у него нет сердца, нет мозгов, а исключительно одни манеры и воспитание английского джентльмена – так это уж только с самой невыгодной стороны рекомендует милого Питера; да, он умел быть несносным;

совершенно невозможным; но как чудно было бродить с ним в такое вот утро.

(Июнь выпятил каждый листок на деревьях. Матери Пимлико кормили грудью младенцев. От флота в Адмиралтейство поступали известия. Арлингтон-стрит и Пиккадилли заряжали воздух парка и заражали горячую, лоснящуюся листву дивным оживлением, которое так любила Кларисса. Танцы, верховая езда – она когда-то любила все это.)

Ведь пусть они сто лет как расстались – она и Питер; она ему вообще не пишет; его письма – сухие, как деревяшки; а на нее все равно вдруг находит: что он сказал бы, если б был сейчас тут? Иной день, иной вид вдруг и вызовут его из прошлого – спокойно, без прежней горечи; наверное, такая награда за то, что когда-то много думал о ком-то; тот приходит к тебе из прошлого в Сент-Джеймсский парк в одно прекрасное утро – возьмет и придет. Только Питер – какой бы ни был чудесный день, и трава, и деревья, и вот эта девчушка в розовом, – Питер не замечал ничего вокруг. Сказать ему – и тогда он наденет очки, он посмотрит. Но интересовали его судьбы мира. Вагнер, стихи Поупа, человеческие характеры вообще и ее недостатки в частности. Как он школил ее! Как они ссорились! Она еще выйдет за премьер-министра и будет встречать гостей, стоя на верху лестницы; безупречная хозяйка дома – так он ее назвал (она потом плакала у себя в спальне), у нее, он сказал, задатки безупречной хозяйки.

И вот, оказывается, она все еще не успокоилась, идет по Сент-Джеймсскому парку, и доказывает себе, и убеждается, что была права, – конечно, права! – что не вышла за него замуж. Потому что в браке должна быть поблажка, должна быть свобода и у людей, изо дня в день живущих под одной крышей; и Ричард ей предоставляет свободу; а она – ему. (Например, где он сегодня? Какой-то комитет. А какой – она же не стала расспрашивать.) А с Питером всем надо было б делиться; он во все бы влезал. И это невыносимо, и когда дошло до той сцены в том садике, около того фонтана, она просто должна была с ним порвать, иначе они бы погибли оба, они бы пропали, бесспорно; хотя не один год у нее в сердце торчала заноза и саднила; а потом этот ужас, в концерте, когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на пароходе по пути в Индию! Никогда она этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная – хорошо он ее честил. Ей не понять его чувств. Но уж красотки-то в Индии, те, конечно, его понимают. Пустые, смазливые, набитые дуры. И нечего его жалеть. Он вполне счастлив – он уверял, – совершенно счастлив, хотя ничего абсолютно не сделал такого, о чем было столько говорено; взял и загубил свою жизнь; вот что до сих

пор ее бесит.

Она дошла до ворот парка. Постояла минутку, поглядела на катившие по Пиккадилли автобусы.

Ни о ком на свете больше не станет она говорить: он такой или этакий. Она чувствует себя бесконечно юной; одновременно невыразимо древней. Она как нож все проходит насквозь; одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море, одна; у нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день – очень-очень опасное дело. Не то чтоб она считала себя такой уж тонкой или незаурядной. Просто удивительно, как она ухитрилась пройти по жизни с теми крохами познаний, которыми снабдила их фройляйн Дэниелс. Она ведь ничего не знает; ни языков, ни истории; она и книг-то толком уже не читает, разве что мемуары на сон грядущий; и все равно – как это захватывает; все это; скользящие такси; и больше она не станет говорить про Питера, она не станет говорить про самое себя: я такая, я этакая.

Единственный дар ее – чувствовать, почти угадывать людей, думала она, идя дальше. Оставьте ее с кем-нибудь в комнате, и она сразу выгнет спину, как кошка; или она замурлычет. Девоншир-Хаус, Бат-Хаус, особняк с фарфоровым какаду – она их помнит в огнях; и были Сильвия, Фред, Салли Сетон – бездна народа; танцевали всю ночь до утра; уже фургоны тащились на рынок; домой шли через парк. Еще она помнит, как однажды бросила шиллинг в Серпантин. Но подумаешь, мало ли кто что помнит; а любит она – вот то, что здесь, сейчас, перед глазами; и какая толстуха в пролетке. И разве важно, спрашивала она себя, приближаясь к Бонд-стрит, разве важно, что когда-то существование ее прекратится; все это останется, а ее уже не будет, нигде. Разве это обидно? Или наоборот – даже утешительно думать, что смерть означает совершенный конец; но каким-то образом, на лондонских улицах, в мчащемся гуле она останется, и Питер останется, они будут жить друг в друге, ведь часть ее – она убеждена – есть в родных деревьях; в доме-уроде, стоящем там, среди них, разбросанном и разваленном, в людях, которых она никогда не встречала, и она туманом лежит меж самыми близкими, и они поднимают ее на ветвях, как деревья, она видела, на ветвях поднимают туман, но как далеко-далеко растекается ее жизнь, она сама. Но о чем это она размечталась, глядя в витрину Хэтчарда? К чему подбирается память? И какой молочный рассвет над полями видится ей сквозь строки распахнутой книги:

Злого зноя не страшись

И зимы свирепой бурь.

За эти последние годы во всех, мужчинах и женщинах, вскрылись источники слез. Слез и горя; смелости и выдержки; замечательного героизма и стойкости. Подумать хотя бы о женщине, которой она особенно восхищается, – как леди Бексборо открывала базар.

В витрине были «Веселые вылазки Джорока» и «Мистер Спонж», «Мемуары» миссис Асквит, «Большая охота в Нигерии» – все лежали распахнутые. Бездна книг, но ни одной уж совсем подходящей, чтоб можно понести Ивлин Уитбред в лечебницу. Такой, чтоб ее развлекла и заставила эту неописуемо тощую и крошечную женщину глянуть на Клариссу, когда она войдет, хоть на миг потеплевшими глазами, прежде чем пуститься в вечный разговор о женских болезнях. Как приятно, если радуются, когда ты входишь, подумала Кларисса, и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит, злясь на себя, потому что глупость – делать что-то из сложных каких-то соображений. Стать бы как Ричард, например, и делать что-то просто так, раз надо, а она, думала Кларисса, ожидая у перехода, вечно делает что-то не просто, чтоб делать, а чтобы понравиться; полный идиотизм, думала она (но вот полицейский поднял руку), никого ведь не проведешь. О, если б начать жизнь сначала! – думала она, ступая на мостовую. Хоть выглядеть бы иначе!

Во-первых, хорошо бы быть смуглой, как леди Бексборо, с кожей, как тисненая юфть, и прекрасными глазами. Хорошо бы, как леди Бексборо, быть медленной, статной; крупной; по-мужски интересоваться политикой; иметь загородный дом; быть царственной; откровенной. У нее же, наоборот, тело узкое, как стручок; до смешного маленькое личико, носатое, птичье. Зато она держится прямо, что правда, то правда; и у нее красивые руки и ноги; и одевается она хорошо, особенно если вспомнить, как она мало на это тратит. Но в последнее время – странно – об этом своем теле (она остановилась полюбоваться на голландскую живопись), этом теле, от которого никуда не денешься, она забывает, просто забывает. И какое-то сверхстранное чувство, будто она невидима; невиданна; неведома, и будто другая выходила замуж, рожала, а она только идет и идет без конца в поразительном шествии вместе со всеми в толпе по Бонд-стрит; некая миссис Дэллоуэй; даже и не Кларисса; а миссис Дэллоуэй, жена Ричарда Дэллоуэя.

Ей страшно нравилась Бонд-стрит; Бонд-стрит ранним утром в июне; флаги веют; магазины; ни помпы, ни мишуры; один-одинешенек рулон твида в магазине, где папа пятьдесят лет подряд заказывал костюмы; немного жемчуга; семга на льду.

– Вот и все, – сказала она, глядя в рыбную витрину. – Вот и все, – повторила она, задержавшись у магазина перчаток, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки. А старый дядя Уильям всегда говорил, что леди узнается по туфелькам и перчаткам. Как-то утром, в разгар войны, он повернулся на постели к стене. Он сказал: «С меня хватит». Перчатки и туфельки; она помешана на перчатках; а родной дочери, ее Элизабет, и на туфли и на перчатки с высокой горы наплевать.

Наплевать, наплевать, думала она, идя по Бонд-стрит к цветочному магазину, где она покупала цветы, когда у нее бывал прием. Вообще-то больше всего Элизабет занимает ее песик. Сегодня весь дом варом пропах. Но уж лучше бедняжка Бом, чем мисс Килман; лучше чумка, и вар, и прочее, чем сидеть взаперти в душной спальне с молитвенником! Да чуть ли не что угодно лучше. Но, может быть, это, как Ричард говорит, возрастное, пройдет, все девочки через это проходят. Влюбленность такая. Хотя – зачем же именно в мисс Килман? Которой, конечно, несладко пришлось; и на это надо делать скидку, и Ричард говорит, она очень способная, по складу ума настоящий историк. Но, во всяком случае, они неразлучны. И Элизабет, ее родная дочь, ходит к причастию; а как полагается одеваться, как полагается вести себя с гостями за обедом – это ее нисколечко не занимает, и вообще, она замечала, религиозный экстаз делает людей черствыми («идеи» разные – тоже), бесчувственными; мисс Килман, например, в лепешку расшибется во имя русских, будет морить себя голодом во имя австрийцев, а в обычной жизни она сущее бедствие, совершенный чурбан в этом зеленом своем макинтоше. Носит его не снимая; вечно потная; пяти минут не пробудет в комнате, чтоб ты не ощутила, насколько она возвышенна, а ты ничтожна; какая она бедная, а ты богатая; как она живет в трущобах, без подушки, или без кровати, или без одеяла, бог там ее знает без чего, и вся душа ее иссохла от обиды из-за того, что ее из школы уволили во время войны – бедное, озлобленное, убогое создание! Ведь не ее же ненавидишь, а самое понятие, воплощенное в ней, вобравшее, конечно, многое вовсе и не от мисс Килман; ставшее призраком, из тех, с которыми бьешься ночами, которые кровь из тебя сосут и мучат, тираны; а ведь выпади кость иначе, кверху черным, не белым, и она бы мисс Килман даже любила! Но только не на этом свете. Нет уж.

Ну вот, опять, спугнула все-таки злобное чудище! И теперь кончено, уже затрещали сучья, – стук копыт идет по занесенной листьями чаще, непроходимой чаще души; никогда нельзя быть спокойной и радоваться, вечно стережет и готова напасть эта тварь – ненависть; и, особенно после болезни, повадилась причинять боль, и боль отдается в хребте, и радость от красоты, дружбы, от того, что ей хорошо, ее любят и она восхитительно содержит дом, колеблется, шатается, будто и впрямь чудище подкапывается под корень, и вся эта сень довольства оборачивается сплошным эгоизмом. Ох эта ненависть!

Глупости, глупости, кричало сердце Клариссы, когда она толкала дверь в цветочный магазин Малбери.

Она вошла, легкая, высокая, очень прямая, навстречу сиянию на бляшке личика мисс Пим, у которой всегда были красные руки, будто она держала их вместе с цветами в холодной воде.

Тут были шпорник, душистый горошек, сирень и гвоздики, бездна гвоздик. Были розы; были ирисы. Ох – и она вдыхала земляной, сладкий запах сада, разговаривая с мисс Пим, которая была ей обязана и считала доброй, и она правда была к ней когда-то добра, очень добра, но было заметно, как она в этом году постарела, когда она кивала ирисам, розам, сирени и, прикрыв глаза, впитывала после грохота улицы особенно сказочный запах, изумительную прохладу. И как свежо, когда она снова открыла глаза, глянули на нее розы, будто кружевное белье принесли из прачечной на плетеных поддонах; а как строги и темны гвоздики и как прямо держат головки, а душистый горошек тронут лиловостью, снежностью, бледностью, будто уже вечер, и девочки в кисее вышли срывать душистый горошек, и розы на исходе пышного летнего дня с густо-синим, почти чернеющим небом, с гвоздикой, шпорником, арумом; и будто уже седьмой час, и каждый цветок – сирень, гвоздика, ирисы, розы – сверкает белым, лиловым, оранжевым, огненным и горит отдельным огнем, нежным, четким, на отуманенных клумбах; и какие милые бабочки кружили над вишневым пирогом и сонным уже первоцветом!

И, переходя следом за мисс Пим от одного кувшина к другому, выбирая, «Глупости, глупости!» – говорила она себе все спокойнее, будто яркость, и запах, и красота, и признательность, и доверие мисс Пим несли ее, как волна, и смывали чудище-ненависть, смывали все; и волна несла ее самое, выше, выше, пока – ой! – на улице бахнул пистолетный выстрел!

– Господи, эти автомобили, – сказала мисс Пим, и бросилась к окну, и тотчас, прижимая к груди душистый горошек, обратила к Клариссе извиняющуюся улыбку, будто эти автомобили, эти шины – всецело ее вина.

Причиной страшного грохота, заставившего миссис Дэллоуэй вздрогнуть, а мисс Пим броситься к окну и потом извиняться, был автомобиль, который врезался в тротуар как раз напротив цветочного магазина Малбери. Перед глазами замерших, конечно, прохожих мелькнуло сверхзначительное лицо на фоне сизой обивки, но тотчас мужская рука проворно задернула шторку, после чего остался виден лишь сизый квадратик, не более.

И, однако, сразу же понеслись слухи от середины Бонд-стрит к Оксфорд-стрит, с одной стороны, а с другой – к парфюмерии Аткинсона, понеслись невидно, неслышно, как облако, быстрое, легкое облако над холмами и, как облако, строгостью и тишиной наплывали на лица, за миг до того совершенно рассеянные. Теперь же тайна их коснулась крылом; их призывал голос власти; подле витал дух обожания, с разинутым ртом и завязанными глазами. Никто, однако, не знал, чье на фоне сизой обивки мелькнуло лицо. Принца Уэльского, королевы ли, премьер-министра? Чье лицо? Никто не знал.

Эдгар Дж. Уоткинс, перекинув через руку смотанную проводку, сказал громко, шутя, разумеется:

– Ето примерминистера машина.

Септимус Уоррен-Смит, застрявший на тротуаре, услышал его.

Септимус Уоррен-Смит, примерно лет тридцати, бледнолицый, носатый, в желтых ботинках, но в обтрепанном пальтеце и с такой тревогой в карих глазах, что кто на него ни взглянет, сразу тревожился тоже. Мир поднял хлыст; куда падет удар?

Все стало. Гремели моторы, как неровный пульс отдается во всем теле. Солнце невозможно пекло из-за того, что автомобиль застрял у цветочного магазина Малбери; старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали черные зонтики; там и сям с веселым щелчком распахивался то зеленый зонтик, то красный. Миссис Дэллоуэй с охапкой душистого горошка в руках высунула в окно розовое маленькое личико, выражающее недоумение. Все смотрели на автомобиль.

Септимус тоже смотрел. Мальчишки спрыгивали с велосипедов. Еще и еще машины попадали в затор. А тот автомобиль стоял с затянутыми шторками, и на шторках был странный рисунок, наподобие дерева, думалось Септимусу, и оттого, что все, все стягивалось у него на глазах к единому центру, будто что-то страшное совсем почти вышло уже на поверхность и вот-вот могло взметнуться костром, Септимус сжался от ужаса. Мир дрожал, и качался, и грозил взметнуться костром. Это из-за меня затор, подумал он. На него, наверное, смотрят, пальцами тычут; и неспроста его, значит, придавило, пригвоздило к тротуару? Только зачем?

– Пойдем, Септимус, – говорила его жена, маленькая, большеглазая, с личиком бледным и узким; итальяночка.

Но Лукреция и сама не могла оторвать глаз от автомобиля с деревцами на шторках. Может, это королева? Королева за покупками едет? Шофер что-то открыл, что-то повертел и захлопнул, а потом снова сел на свое место.

– Пошли, – сказала Лукреция.

Но ее муж – ведь они четыре, нет, пять лет уже как женаты – топнул ногой, дернулся и сказал: «Ладно!» – так зло, будто она к нему пристает.

Люди заметят; люди увидят. Люди, думала она, разглядывая толпу, уставившуюся на автомобиль; англичане – со своими детишками и лошадками, в своих этих костюмах, которые, кстати, ей нравились; но они теперь стали именно «люди», потому что Септимус сказал: «Я покончу с собой», а такое нельзя говорить. Вдруг услышат! Она разглядывала толпу. «Помогите! Помогите! – хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам. – Помогите!» А еще осенью они с Септимусом стояли на набережной Виктории под одним плащом, Септимус читал газету, не слушал, и она выхватила у него газету и расхохоталась в лицо старику, который их видел! А беду вот скрываешь. Надо его утащить в какой-нибудь парк.

– Давай перейдем, – сказала она.

Она имела право на его руку, пусть у него и не осталось никаких чувств. Она, наивная, юная, двадцатичетырехлетняя, ради него покинула родину и друзей – он не должен ее обижать.

Автомобиль же с затянутыми шторками и загадочной непроницаемостью проследовал к Пиккадилли, по-прежнему под упорными взорами, по-прежнему овевая лица по обеим сторонам улицы темным ветерком благоговенья – к принцу ли, королеве, премьер-министру, не знал никто. Всего трое и всего-то секунду видели то лицо. Даже и насчет пола возникли уже разногласия. Но определенно – сама слава восседала в автомобиле, и слава за шторками следовала по Бонд-стрит, совсем рядышком с простыми людьми, которым в первый и последний раз в жизни привелось быть бок о бок с величием Англии, символом государства, который смогут опознать любопытные археологи, роясь в наших развалинах и находя только кости, да обручальные кольца вперемешку с прахом, да золотые коронки на несчетных прогнивших зубах, там, где Лондон сейчас, и утро, среда, и толпится народ на Бонд-стрит. Лицо же в автомобиле смогут опознать и тогда.

Вероятно, королева, думала миссис Дэллоуэй, выходя от Малбери с цветами. Да, королева. И на лице ее застыло сверхдостойное выражение, пока она стояла на солнце возле магазина и автомобиль с затянутыми шторками медленно проплывал мимо. Королева отправляется куда-то в больницу. Королева открывает базар, думала Кларисса.

Шум для такой рани был удивительный. «Лордз», «Аскот», «Херлингем». Да что же это? – удивлялась Кларисса, когда перекрыли движение. Английские буржуа средней руки, сидевшие в профиль к ней во втором этаже автобусов со свертками, зонтиками и – да, в эту жару – в мехах, представляли собой, Кларисса считала, смехотворное, невозможное, бог знает какое, просто непостижимое зрелище. И чтобы королеву задерживали, чтобы королеве не давали проехать! Кларисса застряла по одну сторону Брук-стрит; сэр Джон Бакхэст, старый судья, – по другую, и тот автомобиль был как раз между ними (сэр Джон давным-давно постиг, что похвально, что предосудительно, и ему понравилась хорошо одетая женщина), когда шофер, чуть-чуть наклоняясь вперед, что-то сказал или показал полицейскому, и тот козырнул, поднял руку, тряхнул головой, сдвинул автобус в сторону, и автомобиль тронулся. Медленно, почти бесшумно он двинулся с места.

И Кларисса догадалась; Кларисса все поняла; она разглядела что-то белое, волшебное, круглое в руке у шофера, диск, с оттиснутым именем – королевы, премьер-министра, принца Уэльского? – прожигающим путь себе собственным блеском (автомобиль делался меньше, меньше, скрывался у Клариссы из глаз), чтоб затмевать сверкание люстр, и звезд, и дубовых листьев, и прочего, и Хью Уитбреда, и цвет английского общества – нынче вечером в Букингемском дворце.

И у самой Клариссы тоже сегодня прием. Лицо ее чуть напряглось. Да, она будет сегодня встречать гостей, стоя на верху лестницы. Автомобиль исчез, но следом легкая рябь побежала по магазинам перчаток и шляпок, по магазинам мужских костюмов вдоль тротуаров Бонд-стрит. На целых тридцать секунд все головы замерли, дружно склонившись в одном направлении – к окнам. Выбирая перчатки – какие взять, до локтя ли, выше ли, лимонные ли, бледно-серые? – на повороте фразы замерли дамы. Нечто произошло. До того пустячное в каждом отдельном случае, что и точнейшему математическому устройству, улавливающему земные толчки даже в далеком Китае, ничего бы тут не отметить; в целом, однако ж, огромное нечто; волнующее; ибо во всех магазинах – мужских ли костюмов, перчаток ли – незнакомые люди посмотрели друг другу в глаза; подумав о мертвых; о флаге; о Великой Британии. В кабаке на задворках какой-то житель колонии недобрым словом задел Виндзоров, что повело к перебранке, а от нее к разбитым пивным кружкам и общей драке; и шум бросился через дорогу и странно ударил в уши девиц, покупавших белое, в белой мережке белье себе к свадьбе. Волнение, оставленное автомобилем сперва на поверхности, постепенно тем самым проникало в глубины.

Автомобиль же пересек Пиккадилли и свернул на Сент-Джеймс-стрит. Рослые господа, осанистые господа, элегантные господа во фраках и белых галстуках, господа с гладко зачесанными волосами и с трудно определимыми целями стоявшие в оконной нише «Уайтса», поддев сзади хвосты своих фраков и глядя на улицу, угадали душой, что мимо скользит слава Англии, и бледный отблеск бессмертия пал на их лица, как пал он на лицо Клариссы Дэллоуэй. Тотчас они стали еще осанистей, руки опустили по швам, и казалось, вот-вот они бросятся на жерла вражеских пушек во имя своего властелина, как некогда делали предки. Белые бюсты и столики в глубине, украшенные номерами «Татлера» и бутылками содовой, их точно подкрепляли и одобряли; точно воплощали колыхание нив и раздолье усадеб; точно отдавали жужжание автомобиля, как отдает звучащая галерея одинокий голос, помножив его на гул всей громады собора. Мисс Мол Прэт, в шали, стоя на панели с цветами, пожелала всего доброго милому мальчику (это же, ясное дело, был принц Уэльский) и даже бросила бы букетик роз на Сент-Джеймс-стрит (а ведь это целая кружка пива!) просто так, от веселости и от презрения к бедности, – если б взор констебля вовремя не унял верноподданнического порыва старой ирландки. Часовые Сент-Джеймсского дворца взяли на караул; полицейский у дворца королевы Александры был ими доволен.

Меж тем у ворот Букингемского дворца собралась кучка народа. Все люди бедные, они скучливо, но уверенно ждали; поглядывали на дворец с реющим

флагом, на величаво высящуюся Викторию; похваливали ее уступчики и каскады, ее герани; пристально глядя на Мэлл, вдруг изливали чувства на какую-нибудь машину; убедившись, что зря обласкали обывателя за рулем, тотчас брали излитые чувства назад и копили их, пропуская машины одну за другой без внимания; и все время слухи бродили по жилам и отдавались томлением в чреслах при мысли о том, что на них упадет царственный взор; им кивнет королева; им улыбнется принц; при мысли о дивной жизни, свыше дарованной королям; о конюших, о реверансах; о старинном кукольном домике королевы; о том, что принцесса Мэри – на? поди! – вышла за какого-то англичанина, а принц – ах, принц! – он, говорили, вылитый старый король Эдуард, только субтильней. Принц жил в Сент-Джеймсском дворце, но почему б ему утром не наведаться к матери?

Это Сара Блечли говорила, баюкая своего малыша и покачивая ногой, будто она у себя в Пимлико у своей каминной решетки, однако не спуская с Мэлла глаз, а Эмили Коутс окидывала взглядом окна дворца и думала про горничных, сколько их там, горничных, думала про комнаты, сколько их там, комнат. Меж тем толпа увеличилась благодаря одному господину со скотч-терьером и нескольким личностям без определенных занятий. У маленького мистера Боули (сам он обитал в Олбани, душа же его была опечатана сургучом, но вдруг распечатывалась ужасно некстати от подобных вещей; бедные женщины ждут, когда проедет их королева, бедные-бедные женщины, милые детки-сиротки, вдовы, война – ох уж эта война!) в глазах просто стояли слезы. Теплый ветер, добродушно пройдясь по легким деревьям Мэлла, мимо бронзовых героев, всколыхнул некий флаг в британской груди мистера Боули, и он поднял шляпу, когда автомобиль свернул на Мэлл, и пока автомобиль приближался, он держал ее высоко над головой, и бедные матери Пимлико беспрепятственно жались к нему; он стоял очень прямо. Автомобиль подъезжал.

Вдруг миссис Коутс задрала голову. Вой аэроплана зловеще ввинчивался в уши. Вот аэроплан взмыл над деревьями, и он оставлял позади белый дым, и дым этот вился, клубился, он, ей-богу, что-то писал! Выводил по небу буквы! Все задрали головы.

Вот аэроплан упал вниз, взмыл ввысь, он делал петли, он парил, он взмывал, он падал и все время, все время, все время сзади плотное кружево дыма свивалось, сплеталось, выводило по небу буквы. Но какие же буквы? «Б», что ли?.. А потом «Р»? Всего на секунду они застывали и сразу расплывались, и таяли, и стирались с неба, и аэроплан летел себе дальше и на новом небесном куске уже снова

чертил «Б»… и «Р» и «Ю»…

– Крем, – произнесла миссис Коутс благоговейным, пресекшимся голосом, устремив глаза вверх, а малыш у нее на руках, белый и тихий, тоже устремлял глаза вверх.

– Мокко, – пробормотала миссис Блечли, как сомнамбула. Недвижно держа шляпу над головой, мистер Боули смотрел в небо. Вдоль всего Мэлла люди стояли и смотрели в небо. Они смотрели, а весь мир словно замер, и небо перечеркнул лет спугнутых чаек, сперва одна предводительствовала, потом другая, и по этой немыслимой тишине, по бледности и чистоте одиннадцать раз ударили колокола, и звон таял, не долетая до чаек.

Аэроплан кружил, качался, выделывал черт-те что, легко, вольно, как конькобежец…

– Это же «и», – сказала миссис Блечли…

или танцор…

– Это же ириски, – пробормотал мистер Боули (автомобиль въехал в ворота, но никто на него не взглянул), и выталкивал дым, и несся все дальше, дальше, и дым таял и стал уже оторочкой белых раскидистых облаков.

Исчез. Скрылся за облаками. Ни звука. Облака, на которых висели буквы «Р», «О» или «Ю», плыли и плыли, будто посланные с Запада на Восток с чрезвычайно важным известием, каким – никогда не выяснится, но все равно чрезвычайно важным известием. Потом – вдруг – как поезд вырывается из туннеля, аэроплан выскочил из-за облаков, и снова вой ввинчивался в уши тех, кто стоял на Мэлле, в Грин-Парке, на Пиккадилли, на Риджент-стрит, в Риджентс-Парке, – и сзади вился дым, и аэроплан падал, взмывал и одну за другой выводил буквы – но что за слово он выводил?

Лукреция Уоррен-Смит, сидя рядом с мужем в Риджентс-Парке на Главной аллее, посмотрела вверх.

– Смотри-ка, смотри-ка, Септимус! – вскрикнула она. Доктор Доум ей сказал, чтоб она отвлекала мужа (хоть с ним ничего абсолютно серьезного, просто он немного расклеился), отвлекала внешними впечатлениями.

Ну да, подумал Септимус, глядя вверх, они мне сигналят. Сигналы не выражались в словах, то есть он пока не разбирал языка; но она была достаточно внятна – красота, божественная красота, – и слезы застилали ему глаза, пока он смотрел, как дымные слова истаивают, и расползаются в сини, и в неизреченной своей благости, по милой своей доброте дарят ему образ за образом немыслимой красоты, и сигналами обещают безвозмездно, навечно – только смотри – снабдить его красотою, еще красотою! Слезы катились у него по щекам.

Да, это ириски. Это реклама ирисок, сказала Реции присевшая рядом няня с ребенком. Они разобрали вместе: «и»… «р»… «и»…

– К… Р… – сказала няня, и Септимус услышал, как у самого уха его «Ка» и «Эр» она вывела низко, нежно, точно спелые органные ноты, но с хрипотцою, точно стрекот кузнечика, который восхитительно отдался в хребте, послал звуковые волны к мозгу, и там они расплескались. Да, удивительное открытие – что человеческий голос в определенных атмосферных условиях (прежде всего надо рассуждать научно, только научно!) может пробуждать к жизни деревья! Слава Богу, Реция страшно прижала ему ладонью колено, придавила к скамье, не то бы от того возбуждения, с каким вязы теперь вздымались и опадали, вздымались и опадали, горя всеми листьями сразу, все окатывая то редеющим, то загустевающим цветом от сини до зелени полой волны, будто плюмажи на холках коней, будто перья на шляпках, так гордо, так величаво они вздымались, они опадали, что недолго и спятить. Но не спятит он, дудки. Надо только закрыть глаза. Не смотреть.

Но они кивали; листья были живые; деревья – живые. И листья, тысячей нитей связанные с его собственным телом, овевали его, овевали, и стоило распрямиться ветке, он тотчас с ней соглашался. Воробьи, вздымаясь и опадая фонтанчиками, дополняли рисунок – белый, синий, расчерченный ветками. Звуки выстраивались в рассчитанной гармонии; и паузы падали с такой же весомостью. Плакал ребенок. Явственно в отдалении звенел рожок. Все вместе взятое означало рождение новой религии…

– Септимус, – сказала Реция. Он страшно вздрогнул. Как бы люди не заметили. – Я до фонтана и обратно, – сказала она.

Больше она не могла терпеть. Хорошо доктору Доуму говорить, что с ним ничего серьезного. Уж лучше б он умер! Невозможно сидеть с ним рядом, когда он смотрит вот так и не видит ее, и все он делает страшным – деревья, и небо, и детишек, которые катают тележки, свистят в свистульки и шлепаются, – все, все из-за него страшно. И не покончит он с собой; и никому ведь не скажешь: «Септимус слишком много работал, он устал» – и больше ничего ведь не скажешь, даже своей родной матери. Когда любишь – делаешься такой одинокой, думала она. И никому ведь не скажешь, теперь не скажешь и Септимусу, и, оглянувшись, она увидела, как он сидит – скорчился, в своем потрепанном пальтеце, смотрит. Просто трусость, когда мужчина говорит, что покончит с собой, но ведь Септимус воевал; он был храбрый; а это разве Септимус? Она кружевной воротничок надела, она надела новую шляпку, а этот и не заметил; ему без нее хорошо. Ей без него никогда не может быть хорошо! Никогда! Эгоист. Все мужчины такие. И вовсе он не болен. Доктор Доум говорит: у него ничего абсолютно серьезного.

Она протянула и разглядывала свою руку. Вот! Обручальное кольцо чуть не свалилось – до того она похудела. Ей – вот кому плохо. И никому ведь не скажешь.

Далеко осталась Италия, белые дома и комната, где они с сестрами делали шляпки, и шумные улицы, где каждый вечер толпится народ и гуляют, смеются, не то что эти калеки на колесиках, которые пялятся на противные, растыканные по горшочкам цветы.

– Посмотрели б, какие сады в Милане! – сказала она громко. Кому?

Никого же нет. И слова загасли. Так гаснет ракета; искры чуть поцарапают ночной свод и сдаются тьме, и тьма опускается, проливается на очертания домов и башен; в ней затихают и тонут бледные, печальные скаты. Но вот они все исчезли, а ночь по-прежнему ими полна; утратив краски, растеряв окна, они тем настойчивей существуют и выдают ночи то, чего ни за что не понять простодушной открытости дня: тревогу и страхи вещей, собравшихся во тьме, теснящихся во тьме, томящихся по той радости, которую приносит рассвет, когда моет белым и серым стены, метит каждую оконницу, поднимает с пастбищ туман и обнаруживает на них мирное рыжее стадо; и все сызнова себя дарит

глазам; сызнова существует. «Я одна, одна!» – крикнула она фонтану Риджентс-Парка (глядя на индейца и его крест); наверно, как в полночь, когда заблудились вехи и земля принимает древний свой облик, в каком видели ее, высадясь, римляне: туманная, и горы еще безымянны, и реки петляют неведомо где – такая была тьма и в душе у Реции; и вдруг, будто она стояла на доске, и оттолкнулась, и доска подпрыгнула – она сказала себе, что она его жена, они давно поженились в Милане, и никогда, никогда она никому не скажет, будто он сумасшедший! Доска подпрыгнула, а она стала падать, вниз, вниз. Он ушел, подумала она, ушел, как грозился, – он покончит с собой, бросится под грузовик! Но нет; вот он; сидит, один, в своем потрепанном пальтеце, скрестил ноги, смотрит, говорит вслух.

Люди не смеют рубить деревья! Бог есть. (Свои откровения он записывал на обороте конвертов.) Изменить мир. Никто не убивает из ненависти. Да будет известно (он и это записал). Он обождал. Вслушался. Воробушек с ограды напротив прочирикал «Септимус. Септимус» раз пять и пошел выводить и петь – звонко, пронзительно, по-гречески о том, что преступления нет, и вступил другой воробушек, и на длящихся пронзительных нотах, по-гречески, они вместе, оттуда, с деревьев на лугу жизни за рекою, где бродят мертвые, пели, что смерти нет.

Вот – мертвые совсем рядом. Какие-то белые толпились за оградой напротив. Он боялся смотреть. Эванс был за оградой!

– Ты что говоришь? – вдруг спросила Реция и села рядом.

Опять перебила! Вечно она мешает.

– Подальше от людей – надо скорей уйти подальше от людей, – так он сказал (и вскочил). Надо было уйти туда, где под деревом стояли стульчики, и парк плыл длинной зеленой полосой под синеющим куполом с дымным розовым пятном посредине, а вдали неровным валом в дыму горели дома, и вился шум улицы, а направо бурые звери тянули долгие шеи над оградою зоологического сада и тявкали, выли. Там и сели, под деревом.

– Погляди, – молила она, показывая на группку мальчишек, они шли с крикетными битами, и один все шаркал, и вертелся на каблуке, и шаркал, будто клоуна изображал в мюзик-холле.

– Погляди, – молила она, потому что доктор Доум ей сказал, чтоб отвлекала его внешними впечатлениями, водила в мюзик-холл, посылала играть в крикет – это прекрасная игра, говорил доктор Доум, игра на свежем воздухе, игра в самый раз для ее мужа.

– Погляди, – повторяла она.

Погляди, взывало к нему невидимое через посредство этого голоса, к нему, величайшему из людей, Септимусу, недавно взятому из жизни в смерть, к Господу, пришедшему обновить человечество и легшему на все, как покров, как снежный покров, подвластный лишь солнцу, к неизбывному страдальцу, козлу отпущения, страстотерпцу, но не надо, нет, нет – и он отпихнул рукою вечное страдание, вечное одиночество.

– Погляди же! – повторяла она, чтобы он не говорил сам с собою на людях.

– Погляди же! – молила она. Но на что тут было глядеть? Только овцы одни. Вот и все.

Как пройти к метро «Ридженте-Парк»? Не могут ли они ей сказать, как пройти к метро «Ридженте-Парк», хотела знать Мейзи Джонсон. Она только позавчера из Эдинбурга приехала.

– Нет, нет, не так – вон туда! – крикнула Реция, оттесняя ее в сторону, чтоб не видела Септимуса.

Оба странные, подумала Мейзи Джонсон. Все тут было ужасно странно. В Лондоне она была первый раз, приехала служить в конторе у своего дяди на Леденхолл-стрит и пошла утром по Ридженте-Парку, и эти двое на стульчиках прямо ее напугали: женщина, видимо, иностранка, он – не в себе; и, доживи она даже до старости, все равно ее память будет звенеть о том, как она шла в одно прекрасное утро по Ридженте-Парку пятьдесят лет назад. Ведь ей исполнилось всего девятнадцать, и наконец-то она дорвалась до Лондона; но как удивили ее эти двое, у которых она спросила дорогу, как девушка вскочила, как махала рукой, а он – ужасно странный какой-то: наверно, поссорились; навек решили расстаться; да, что-то у них определенно стряслось; ну, а это все (она опять вышла на Главную аллею): каменные чаши, выстроившиеся цветы, старики и старухи, большей частью калеки, в креслицах – все это тоже после Эдинбурга

было странно. И присоединясь к тихо плетущейся, пусто поглядывающей, обласканной ветром компании – чистились на ветках белочки, бились, порхали за крошками воробьиные фонтанчики, псы изучали ограду, изучали друг друга, а нежный, теплый ветер всех овевал и оставлял в пристальных, неудивленных глазах, какими они принимали жизнь, что-то нелепое и отрешенное, – Мейзи Джонсон чуть не крикнула «ох!» (тот молодой человек всерьез напугал ее; она поняла – определенно там что-то стряслось).

Мейзи хотелось кричать: «Ужас! Ужас!» (Вот уехала от своих; ведь говорили же ей, предупреждали.)

Зачем она не осталась дома! И Мейзи заплакала, ухватясь за железную шишечку.

Девчонка, думала миссис Демпстер (которая сберегала крошки для белок и часто завтракала в Риджентс-Парке), пока не знает, что к чему; да, оно лучше – быть покрепче, и не суетиться, и не ждать от жизни уж чересчур много. Перси пьет. А все равно лучше сына иметь, думала миссис Демпстер. Ей несладко пришлось, и ей было просто смешно глядеть на эту девчонку. Ладно, вот выйдешь замуж. Ты из себя-то ничего, думала миссис Демпстер. Выйдешь замуж, тогда и узнаешь. Стряпня, то да се. У каждого мужика своя повадка. Знать бы все заранее – я б согласилась, а? – думала миссис Демпстер, и ей очень хотелось шепнуть кое-что Мейзи Джонсон и почувствовать на изношенном, старом лице поцелуй; чтоб ее поцеловали. Из жалости. Да, тяжелая была жизнь, думала миссис Демпстер. Чего только не отняла. Радость, внешность и ноги. (Она подтянула под юбку культи.)

Внешность, думала она горько. Все дребедень, моя милочка. Есть, да пить, да вместе спать в добрые и черные дни; тут не до внешности; но если желаешь знать, Кэрри Демпстер ни за что бы не поменялась ни с кем, ни за какие коврижки. Ей только хотелось, чтоб ее пожалели. Пожалели за то, что все миновало. Чтоб Мейзи Джонсон ее пожалела, которая стояла возле клумбы с цветочками.

Ах да – аэроплан! Миссис Демпстер всегда хотелось увидеть дальние страны. У нее был племянник-миссионер. (Аэроплан бог знает чего выделывал, кувыркался.) Она всегда далеко заплывала в Маргейте, конечно, не так чтоб совсем не видно с берега, но она не терпела женщин, которые воды боятся. Он мчался и падал. У нее прямо дух захватило. Опять вверх! Там прекрасный парень

сидел, миссис Демпстер об заклад была готова побиться, и все дальше, дальше летел аэроплан, летел и таял – все дальше, дальше; проплыл над Гринвичем, над всеми мачтами; над островком серых церквей, Святого Павла и прочих, туда, где за Лондоном лежат поля, и темные стоят леса, и дрозд-ловкач прыгает дерзко, глядит зорко и – хвать улитку об камень – раз-два-три!

Все дальше, дальше летел аэроплан, пока не стал яркой искоркой; стремлением; сутью; символом (как представлялось мистеру Бентли, который вовсю трудился у себя в Гринвиче, подстригал машинкой газон) души человеческой; ее вечного стремления, думал мистер Бентли, топчась вокруг кедра, вырваться за пределы тела, своего обиталища, с помощью мысли – Эйнштейн, теории, математика, законы Менделя, – аэроплан же летел и летел.

И пока жалкий, болезненного вида человек с кожаной сумкой мешкал на ступенях Святого Павла и размышлял, не войти ли ему, ибо в соборе ждала его благодать и гробницы, знамена, знаки побед не над армиями, он размышлял, но над тем несчастным духом правдолюбия, из-за которого я дошел до такой жизни, он размышлял, и вдобавок собор предлагает компанию, зовет присоединиться к сообществу; к нему же принадлежат великие мужи; ради него принимали смерть мученики; почему б не войти, он размышлял, не поставить набитую листовками сумку подле алтаря, подле креста, подле символа того, что взмыло над поисками, над вопросами, над толчением слов и стало чистым духом, бестелесным, высоким, – почему б не войти? – и пока он так мешкал, аэроплан пролетел над Ладгейт-серкус.

Странно, тихо он летел. Ни один звук не взвивался над гудением улицы. Будто неуправляемый лет, будто аэроплан сам летел куда вздумается. И вот – вверх, вверх, прямо вверх, как в восторге, как в забытьи, вверх потек белый дым, клубясь, выводя «И», «Р», «И».

– И на что они смотрят? – сказала Кларисса Дэллоуэй отворившей дверь горничной.

В холле была прохлада склепа. Она подняла ладонь к глазам, горничная затворила дверь, и под шум юбок своей Люси миссис Дэллоуэй вступила в дом, как отрекшаяся от мира монахиня вступает под своды монастыря и вновь ощущает привычные складки покрова и молитвенный дух. На кухне

насвистывала кухарка. Стучала пишущая машинка. Это была ее жизнь, и, склонясь к столику в холле, она будто сразу утешилась и очистилась, и, нагибаясь к блокноту, куда заносилось, кто и с чем звонил, она говорила себе, что такие минуты – почки на дереве жизни, это цветение тьмы (будто только ради ее глаз расцвела сейчас сказочной красоты роза); нет, в Бога она, конечно, совершенно не верила; но тем более, думала она, берясь за блокнот, нужно платить благодарностью слугам, да и собакам, и канарейкам, ну, а главное, мужу, Ричарду, он основа, на которой все это держится – веселые звуки, зеленые отблески и свист кухарки (миссис Уокер была ирландка и свистела на кухне день-деньской), нужно, нужно платить из тайного вклада драгоценных минут, думала она, поднимая блокнот со столика, покуда Люси, стоя рядом, пыталась ей втолковать, объяснить, что:

– Мистер Дэллоуэй, мэм…

Кларисса читала в блокноте:

«Леди Брутн хотела бы знать, будет ли мистер Дэллоуэй сегодня завтракать с нею».

– …Мистер Дэллоуэй, мэм, просил вам передать, что он сегодня не будет завтракать дома.

– Ах так! – сказала Кларисса, и Люси, кажется, разделила ее разочарование (но не муку); ощутила их сродство; поняла намек; подумала про то, как они любят, эти господа; решила, что сама она ни за что не будет страдать; и, приняв из рук миссис Дэллоуэй зонтик, как священный меч, оброненный богиней на славном поле битвы, торжественно отнесла к подставке.

– Не страшись, – сказала себе Кларисса. – Злого зноя не страшись. – Ибо леди Брутн пригласила Ричарда на ленч без нее, и от этого удара сбилась и дрогнула драгоценная минута, как дрожит от удара лодочного весла куст на дне; и сама Кларисса сбилась; она дрогнула.

Милисент Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Грубой ревности не поссорить ее с Ричардом. Но она страшилась самого времени, и на лице леди Брутн, будто на высеченном по бесчувственному камню циферблате, она читала, что истекает жизнь; что с каждым годом

отсекается от нее доля; что остаточная часть теряет способность растягиваться и втягивать цвета и вкус и тоны бытия, как бывало в юности, когда она, входя, наполняла собою комнату и замирала на пороге, будто она – пловец перед броском, а море внизу темнеет, и оно светлеет, и волны грозят разверзнуть пучину, но только нежно пушатся по гребешкам и катят, и тают, и жемчугом брызг одевают водоросли.

Она положила блокнот на столик. И побрела вверх по лестнице, забыв руку на перилах, будто она только что ушла с приема, где друзья по очереди зеркалом отражали ее лицо и эхом голос, и вот она затворила за собою дверь и осталась один на один со страшной ночью или, если уж на то пошло, под пронизывающим взглядом равнодушно суетливого июньского утра, которое для других держало нежный накал роз, да, для других, для других; она это чувствовала, замерев на лестнице у распахнутого окна, куда неслись хлопки штор и собачий лай; и пока сама она ощущала себя сморщенной, старой, безгрудой, несся гул, дребезжание и цветение утра – оттуда, с воли, не про нее, вне ее тела и рассудка, очевидно, никуда не годного, раз леди Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила.

Как уходящая от мира монахиня, как девочка, исследующая башню, она поднялась по лестнице, постояла у окна, вошла в ванную. Здесь был зеленый линолеум и тек кран. Посреди кипения жизни здесь была пустынность; был чердак. Женщинам приходится снимать с себя уборы; в полдень им надо разоблачаться. Она пронзила шляпной булавкой подушечку и положила свою желтоперую шляпку на кровать. Простыня, тугая и чистая, несмятой белой полосой тянулась от края к краю. Все у?же и у?же будет ее кровать. Свеча обгорела до половины, и она почти кончила мемуары барона Марбо. Вчера допоздна читала об их отступлении из Москвы. Парламент заседал страшно долго, и Ричард уговорил ее после болезни спать тут, чтоб ее не тревожить. А ей ведь и в самом деле больше нравилось читать об отступлении из Москвы. И он это понял. И вот у нее комната на чердаке; узкая кровать; и, читая тут допоздна, перебарывая бессонницу, она не могла рассеять девства, выстоявшего роды и прилепившегося к телу, как простыня. Привлекши Ричарда обаянием, потом она вдруг обманывала его надежды, пойдя на поводу у этого холодного духа – тогда, например, на реке, в роще под Кливлендом. И потом еще в Константинополе, и еще, и еще. Она понимала, чего ей не хватает. Дело не в красоте. И не в уме. А в том главном, глубинном, теплом, что пробивается на поверхность и рябит гладь холодных встреч мужчины и женщины. Или женщин между собою. Ведь бывает и так. Правда, тут что-то другое, не совсем понятное и ненужное ей, от этого ее защищала природа (которая всегда права); но когда

какая-нибудь женщина, не девочка, а именно женщина ей изливалась, что-то ей говорила, часто даже какие-то глупости, она вдруг подпадала под ее прелесть. Из-за сочувствия, что ли, или из-за ее красоты, или потому, что сама она старше, или просто из-за случайности – дальний какой-нибудь запах, скрипка за стеной (поразительно, как иногда действуют звуки), но вдруг она понимала, что?, наверное, чувствовал бы мужчина. Только на миг; но и того довольно; это было откровение, внезапное, будто краснеешь, и хочешь это скрыть, и видишь, что нельзя, и всей волей отдаешься позору, и уже не помнишь себя, и тут-то мир тебя настигает, поражает значительностью, давит восторгом, который вдруг прорывается и невыразимо облегчает все твои ссадины и раны. Это как озарение; как вспышка спички в крокусе; все самое скрытое освещалось; но вот опять близкое делалось дальним, понятное – непонятным. И уже он пролетал, тот миг. В полном несогласии с теми мигами – узкая кровать (вот она положила на нее шляпку), и барон Марбо, и обгорелая свеча. Часто она лежит без сна под скрип половиц, и вдруг потухает освещенный дом, и, подняв голову, она слышит, как Ричард долго-долго, чтоб не стукнула, закрывает дверь, пробирается по лестнице в носках, но бухает грелку и чертыхается! Как же ей всегда бывает смешно!

Да, так насчет любви (думала она, убирая плащ), насчет влюбленности в подруг. Например, Салли Сетон; ее отношение к Салли Сетон когда-то. Что же это еще, если не любовь?

Она сидела на полу – это было ее первое впечатление от Салли, – сидела на полу, обняв колени, и курила. Но где же? У Мэннингов? Или у Кинлох-Джонсов? Во всяком случае, где-то в гостях (только забыла где), потому что, совершенно же точно, она спросила у кого-то, с кем разговаривала: «А это кто?» И он сказал, и сказал, что родители Салли не ладят (она еще содрогнулась в душе: родители – и вдруг ссорятся!). Но весь вечер она не могла оторвать глаз от Салли. Салли была красавица, и того удивительного типа, какой больше всего нравился Клариссе – темная, большеглазая, – и была черточка в этом лице, которой, сама ею не обладая, особенно Кларисса завидовала – какая-то самозабвенность, будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть; свойство, более частое в иностранках, чем в английских женщинах. Салли всегда говорила, что у нее в жилах течет французская кровь, предок был при дворе у Марии-Антуанетты, кончил на эшафоте, еще оставил какой-то перстень с рубином. Да, и тем же летом, кажется, она вдруг ни с того ни с сего на ночь глядя нагрянула в Бортон без гроша в кармане и до того переполошила бедную тетю Елену, что та потом так ее и не простила. Дома у нее, оказывается, разыгрался скандал, чудовищный. Она нагрянула к ним положительно без гроша в кармане, заложив

брошку, чтоб добраться. Выбежала из дому сама не своя. Они болтали по ночам до утра. Если б не Салли, она б еще долго не знала, как она оторвана от жизни в своем Бортоне. Она была совершенная невежда, что касается пола, социальных проблем. Своими глазами она видела, как упал замертво косарь на лугу, видела только что отелившихся коров. Но тетя Елена не допускала рассуждений ни на какие темы. (Когда Салли дала ей Уильяма Морриса, его пришлось обернуть бумагой.) И они сидели вдвоем у нее в спальне, в мансарде, сидели часами и говорили о жизни, говорили о том, как они переделают мир. Они собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, даже в самом деле письмо сочинили какое-то, только не отослали. Конечно, все это Салли, но она и сама скоро зажглась, читала Платона в постели до завтрака; читала Морриса и Шелли тоже читала.

И что за поразительная сила – одаренности, личности. Какие чудеса, например, вытворяла Салли с цветами. В Бортоне вдоль всего стола всегда вытягивались в ряд чопорные, узкие вазочки. Салли отправлялась в сад, охапками рвала штокрозы, далии, – наобум сочетая никогда не виданные вместе цветы, – срезала головки и пускала плавать в широких чашах. И это просто ошеломляло – особенно на закате, когда входишь ужинать. (Тетя Елена считала, конечно, что непозволительно так дурно обращаться с цветами.) А потом она как-то забыла губку и голая пронеслась по коридору. Старуха горничная, эта злющая Эллен Аткинс, потом весь день ворчала: «Вдруг бы кто из молодых людей увидел…» Да, она многих возмущала. Папа говорил: неряха.

Странно, ведь вот как вспомнишь, в отношении к Салли была особенная чистота, цельность. К мужчинам так не относишься. Совершенно бескорыстное чувство, и оно может связывать только женщин, только едва ставших взрослыми женщин. А с ее стороны было еще и желание защитить; оно шло от сознания общей судьбы, от предчувствия чего-то, что их разлучит (о замужестве говорилось всегда как о бедствии), и оттого эта рыцарственность, желание охранить, защитить, которого с ее стороны было куда больше, чем у Салли. Потому что та была просто отчаянная, вытворяла бог знает что, каталась на велосипеде по парапету террасы, курила сигары. Невозможная, просто невозможная. Но зато ведь и обаяние само, во всяком случае в глазах Клариссы; раз как-то, она запомнила, у себя в спальне, в мансарде, прижимая грелку к груди, она стояла и вслух говорила: «Она здесь, под этой крышей! Она под этой крышей!»

Нет, сейчас эти слова – пустой звук. Даже тени былых чувств не могли они вызвать. Но она же помнит, как холодела она от волнения, в каком-то восторге

расчесывая волосы (вот к ней и начало возвращаться то, прежнее, покуда она вынимала шпильки, выкладывала на туалетный столик, стала расчесывать волосы), а красный закат зигзагами расчерчивали грачи, и она одевалась, спускалась по лестнице, и, пересекая холл, она тогда думала: «О, если б мог сейчас я умереть! Счастливее я никогда не буду». Это было ее чувство – чувство Отелло, и она, конечно, ощущала его так же сильно, как Отелло у Шекспира, и все оттого, что она спускалась, в белом платье, ужинать вместе с Салли Сетон.

Она была в красном, газовом – или нет? Во всяком случае, она горела, светилась вся, будто птица, будто пух цветочный влетел в столовую, приманясь куманикой, и дрожит, повиснув в шипах. Но самое удивительное при влюбленности (а это была влюбленность, ведь верно?) – совершенное безразличие к окружающим. Куда-то уплывала из-за стола тетя Елена. Читал газету папа. Питер Уолш тоже, наверное, был, и старая мисс Каммингс; был и Йозеф Брайткопф, был, конечно, бедный старикан, он приезжал каждое лето и гостил неделями, якобы чтоб читать с ней немецкие тексты, а сам играл на рояле и пел песни Брамса совершенно без голоса.

Все это составляло лишь фон для Салли. Она стояла у камина и чудесным своим голосом, каждое произносимое слово обращающим в ласку, говорила с папой, таявшим против воли (он так и не сумел простить ей книжку, которую она взяла почитать и забыла под дождем на террасе), а потом вдруг сказала: «Ну можно ли сидеть в духоте!» – и все вышли на террасу, стали бродить по саду туда-сюда. Питер Уолш и Йозеф Брайткопф продолжали спорить о Вагнере. Они с Салли дали им отойти. И тогда была та самая благословенная в ее жизни минута подле каменной урны с цветами. Салли остановилась: сорвала цветок, поцеловала ее в губы. Будто мир перевернулся! Все исчезли; она была с Салли одна. Ей как будто вручили подарок, бережно завернутый подарок, и велели хранить, не разглядывать – алмаз, словом, что-то бесценное, но завернутое, и пока они бродили (туда-сюда, туда-сюда), она его раскрыла, или это сияние само прожгло обертку, стало откровением, набожным чувством! И тут старый Йозеф и Питер повернули прямо на них.

– Звездами любуетесь? – сказал Питер.

Она как с разбегу впотьмах ударилась лицом о гранитную стену. Ох, это было ужасно!

И дело не в ней самой. Просто она почувствовала, что он уже придирается к Салли; его враждебность и ревность, желание вмешаться в их дружбу. Она увидела это все, как видишь во вспышке молнии лес, а Салли (никогда она так ею не восхищалась) невозмутимо прошла дальше. Она смеялась. Она попросила старого Йозефа объяснить названия звезд, а тот всегда объяснял это с удовольствием и очень серьезно. А она стояла рядом. И слушала. Она слышала названия звезд.

– Ужасно! – говорила она про себя, и ведь она как знала, как знала заранее, что счастливой минуте что-нибудь да помешает.

Зато скольким она потом была Питеру Уолшу обязана. И отчего это, как подумает о нем, ей всегда вспоминаются ссоры? Чересчур, значит, дорого его хорошее мнение. Она взяла у него слова «сентиментальный», «цивилизованный». Они и сейчас то и дело всплывают, будто Питер тут как тут. Сентиментальная книга. Сентиментальное отношение к жизни. Вот и сама она, наверное, сентиментальная: размечталась о том, что давным-давно прошло. Интересно, что-то он подумает, когда вернется?

Что она постарела? Сам скажет или она прочтет у него по глазам, что она постарела? Действительно. После болезни она стала почти седая.

Она положила брошку на стол, и вдруг ей перехватило горло, будто воспользовались ее задумчивостью и сжали его только и ждавшие случая ледяные когти. Нет, она еще не старая. Она только вступила в свой пятьдесят второй год, впереди пока целехонькие месяцы. Июнь, июль, август! Все еще почти непочатые, и, словно спеша поймать на ладонь падающую каплю, Кларисса окунулась (перейдя к туалетному столику) в самую гущу происходящего, вся отдалась минуте – минуте июньского утра, вобравшего отпечатки уж стольких утр, и увидела, будто сызнова и впервые, как зеркало, туалетный столик, флакончики отражают всю ее под одним углом (перед зеркалом), увидела тонкое, розовое лицо женщины, у которой сегодня прием; лицо Клариссы Дэллоуэй; свое собственное лицо.

Сколько тысяч раз видела она уже это лицо, и всегда чуть-чуть натянутое! Глядя в зеркало, она поджимала губы. Придавая лицу законченность. Это она – но законченная; заостренная, как стрела; целеустремленная. Это она, когда некий сигнал заставляет ее быть собою и стягиваются все части, и лишь ей одной ведомо, до чего они разные, несовместимые, – стягиваются и создают для

посторонних глаз одно, тот единый, сверкающий образ, в каком она входит в свою гостиную, – для кого-то свет в окне, светлый луч, без сомнения, на чьем-то безрадостном небе, для кого-то, возможно, якорь спасения от одиночества; она кое-кому из молодых сумела помочь, те ей благодарны; и она всегда старается быть одинаковой, и не дай Бог, чтобы кто догадался обо всем остальном – слабостях, ревности, суетности, мелких обидах, из-за того, например, что леди Брутн не пригласила ее на ленч, что, конечно (думала она, проводя гребнем по волосам), не лезет ни в какие ворота. Да, так где ж это платье?

Вечерние платья висели в шкафу. Запустив руку в их воздушную мягкость, Кларисса осторожно выудила зеленое и понесла к окну. Она его разорвала на приеме в посольстве. Кто-то наступил на подол. Она чувствовала, как треснуло сверху, под складками. Зеленый шелк весь сиял под искусственным светом, а теперь, на солнце, поблек. Надо его починить. Самой. Девушки и так сбились с ног. Надо его сегодня надеть. Взять нитки, ножницы, и что? – ах, ну да, наперсток, конечно, – взять в гостиную, потому что ведь надо еще кое-что написать, присмотреть, как там у них идет дело.

Странно, думала она, остановясь на площадке и входя в тот единый, сверкающий образ, странно, как хозяйка знает свой дом! Спиралью вились по лестничному пролету смутные звуки; свист швабры; звяканье; звон; гул отворяемой парадной двери; голос, перекидывающий кверху брошенный снизу приказ; стук серебра на подносе; серебро начищено для приема. Все для приема.

(А Люси, внеся поднос в гостиную, ставила гигантские подсвечники на камин, серебряную шкатулку – посередине, хрустального дельфина поворачивала к часам. Придут; встанут; будут говорить, растягивая слова, – она тоже так научилась. Дамы и господа. Но ее хозяйка из всех была самая красивая – хозяйка серебра, полотна и фарфора, – потому что солнце, и серебро, и снятые с петель двери, и посыльные от Рампльмайера вызывали в душе Люси, покуда она устраивала разрезальный нож на инкрустированном столике, ощущение совершенства. Глядите-ка! Вот! – сказала она, обращаясь к подружкам из той булочной в Кейтреме, где она проходила свою первую службу, и кинула взглядом по зеркалу. Она была леди Анжелой, придворной дамой принцессы Мэри, когда в гостиную вошла миссис Дэллоуэй.)

– А, Люси! – сказала она. – Как чудесно блестит серебро!

– А как, – сказала она, поворачивая хрустального дельфина, чтобы он опять стоял прямо, – как было вчера в театре?

– О, тем-то пришлось до конца уйти, – сказала она, – им уже к десяти надо было обратно! – сказала она. – Так и не знают, чем кончилось, – сказала она. – В самом деле, неприятно, – сказала она (ее-то слуги всегда могли задержаться, если отпросятся). – Просто ни на что не похоже, – сказала она, и, сдернув с дивана старую, неприличного вида подушку, она сунула ее Люси в руки, слегка подтолкнула ее и крикнула: – Заберите! Отдайте миссис Уокер! Подарите от меня! Заберите!

И Люси остановилась в дверях гостиной, обнимая подушку, и спросила застенчиво, чуть покраснев: не помочь ли ей с платьем?

Нет-нет, сказала миссис Дэллоуэй, у нее ведь и так работы хватает, и без платья у нее вполне хватает работы.

– Спасибо, спасибо, Люси, – сказала миссис Дэллоуэй, и она повторяла: «спасибо, спасибо (сидя на диване, разложив нитки, ножницы, разложив на коленях платье), спасибо, спасибо», повторяла она, благодарная всем своим слугам за то, что помогают ей быть такой – такой, как ей хочется, благородной, великодушной. Они ее любят. Да, ну вот, теперь, значит, платье – где тут разорвано? Главное, вдеть нитку в иголку. Платье было любимое, от Салли Паркер, чуть не последнее от нее, потому что ведь Салли, увы, не работает больше, живет теперь в Илинге, и если у меня когда-нибудь выдастся минутка свободная, решила Кларисса (но откуда, откуда возьмется эта минутка?), я навещу ее в Илинге. Да, это личность и художница настоящая. Всегда сочинит что-то такое – где-то, чуть-чуть. Зато уж ее платья можно смело куда угодно надеть. Хоть в Хатфилд, хоть в Букингемский дворец. Она надевала их в Хатфилд и в Букингемский дворец.

И тишина нашла на нее, покой и довольство, покуда иголка, нежно проводя нитку, собрала воедино зеленые складки и бережно, легонько укрепляла у пояса. Так собираются летние волны, взбухают и опадают; собираются – опадают; и мир вокруг будто говорит: «Вот и все», звучней, звучней, мощней, и уже даже в том, кто лежит на песке под солнцем, сердце твердит: «Вот и все». «Не страшись», – твердит это сердце. «Не страшись», – твердит сердце, предав свою ношу какому-то морю, которое плачет, вздыхает, вздыхает о всех печалях на свете, снова, снова, ну вот, собирается, опадает. И только лежащий теперь

уже слышит, как жужжит, пролетая, пчела; как разбилась волна; как лает собака; лает где-то вдали и лает.

– Господи, звонят! – вскрикнула Кларисса и остановила иголку. И тревожно прислушалась.

– Миссис Дэллоуэй меня примет, – сказал пожилой господин в холле. – Да-да, она меня примет, – повторил он очень добродушно, отстраняя Люси и быстро взбегая по лестнице. – Да-да-да, – бормотал он на бегу. – Примет, примет. После пяти лет в Индии Кларисса меня примет.

– Да кто же это… да что же это… – недоумевала миссис Дэллоуэй (ну не наглость ли – врываться в одиннадцать утра, когда у нее сегодня прием?), слыша шаги на лестнице. Уже взялись за дверную ручку. Она заметалась – прятать платье, блюдя секреты уединения, как девственница – свое целомудрие. Уже повернулась дверная ручка. Дверь отворилась и вошел… на секунду у нее даже вылетело из головы имя, до того она удивилась, обрадовалась, смутилась, растерялась, потому что Питер Уолш вдруг ввалился с утра! (Она не читала его письма.)

– Ну как ты? – спрашивал Питер Уолш, буквально дрожа, беря обе ее руки в свои, целуя у нее обе руки.

Она постарела, думал он, садясь, не стану ей ничего говорить, думал он, но она постарела. Разглядывает меня, подумал он, и вдруг он смешался, вопреки этому целованию рук. Он сунул руку в карман, он достал оттуда большой перочинный нож и приоткрыл лезвие.

Все тот же, думала Кларисса, тот же взгляд странноватый; тот же костюм в клеточку; чуть-чуть что-то не то с лицом, похудело или подсохло, пожалуй, а вообще он изумительно выглядит и все тот же.

– Как чудесно, что ты тут! – сказала она. И нож вытащил, она подумала. Старые штучки.

Он сказал, что только вчера вечером приехал. И придется, видимо, сразу же ехать за город. Но как дела, как все – Ричард? Элизабет?

– А это по какому поводу? – И он ткнул ножом в сторону зеленого платья.

Он прелестно одет, думала Кларисса. А меня критикует вечно.

Сидит и чинит платье. Вечно она чинит платья, думал он. Так и сидела все время, пока я был в Индии; чинила платья. Развлечения. Приемы. Парламент, то да се, думал он и все больше раздражался, все больше волновался, ибо ничего нет на свете хуже для иных женщин, чем брак, думал он. И политика, и муж-консерватор, вроде нашего безупречного Ричарда. Вот так-то, он думал. Так-то. И, щелкнув, он закрыл нож.

– Ричард – чудесно. Ричард в комитете, – сказала Кларисса.

И она раскрыла ножницы и спросила: ничего, если она кончит тут с платьем, потому что у них сегодня прием?

– На который я тебя не приглашу, – она сказала, – мой милый Питер! – она сказала.

Но как чудно хорошо она сказала «мой милый Питер»! Да, да, все было чудно хорошо – серебро, стулья. Все, все чудно хорошо! Он спросил, почему она не пригласит его на прием.

Да, думала Кларисса. Он очарователен! Просто очарователен! Да, я помню, как немыслимо трудно было решиться – и почему я решилась? – не пойти за него замуж в то ужасное лето!

– Но ведь поразительно, что ты именно сегодня приехал! – вскрикнула она, ладонь на ладонь складывая руки на платье.

– А помнишь, – спросила она, – как хлопали в Бортоне шторы?

– Да уж, – сказал он и вспомнил унылые завтраки с глазу на глаз с ее отцом; тот умер; и он тогда не написал Клариссе. Правда, он не ладил со старым Парри, сварливым, шаркающим стариканом, Клариссиным отцом Джастином Парри.

– Я часто жалею, что не ладил с твоим отцом, – сказал он.

– Но он всегда недолюбливал тех, кто, ну… наших друзей, – сказала Кларисса и язык готова была себе откусить за то, что таким образом напомнила Питеру, что он хотел на ней жениться.

Конечно, хотел, думал Питер. Я тогда чуть не умер с горя.

И печаль нашла на него, взошла, как лунный лик, когда смотришь с террасы, прекрасный и мертвенный в последних отблесках дня.

Никогда я не был так несчастлив, думал он. И, будто и в самом деле он сидит на террасе, он слегка наклонился к Клариссе; вытянул руку; поднял; уронил. Он висел над ними – тот лунный лик. И Кларисса тоже словно сейчас сидела вместе с ним на террасе, в лунном свете.

– Там теперь Герберт хозяин, – сказала она. – Я туда не езжу, – сказала она.

И в точности, как бывает на террасе, в лунном свете, когда одному уже скучновато и неловко от этого, но другой, пригорюнясь, молчит и разглядывает луну, а потому остается молчать и ему, и он ерзает, откашливается, упирается взглядом в завиток на ножке стола, шуршит сухим листом и ни слова не произносит, – так теперь и Питер Уолш.

И зачем ворошить прошлое, думал он, зачем заставлять его снова страдать, не довольно ль с него тех чудовищных мук. Зачем же?

– А помнишь озеро? – спросила она, и голос у нее пресекся от чувства, из-за которого вдруг невпопад стукнуло сердце, перехватило горло и свело губы, когда она сказала «озеро». Ибо – сразу – она, девчонкой, бросала уткам хлебные крошки, стоя рядом с родителями, и взрослой женщиной шла к ним по берегу, шла и шла и несла на руках свою жизнь, и чем ближе к ним, эта жизнь разрасталась в руках, разбухала, пока не стала всей жизнью, целой жизнью, и тогда она ее сложила к их ногам и сказала: «Вот что я из нее сделала, вот!» А что она сделала? В самом деле, что? Сидит и шьет сегодня рядом с Питером.

Она посмотрела на Питера Уолша. Взгляд, пройдя насквозь годы и чувства, неуверенно коснулся его лица; остановился на нем в поволоке слез; вспорхнул и улетел, как, едва тронув ветку, птица вспархивает и улетает. Осталось только

вытереть слезы.

– Да, – сказал Питер, – да-да-да, – сказал он так, будто она что-то вытянула из глуби наружу, задев его и поранив. Ему хотелось закричать: «Хватит! Довольно!» Ведь он не стар еще. Жизнь не кончена никоим образом; ему только-только за пятьдесят. Сказать? – думал он. Или не стоит? Лучше б сразу. Но она чересчур холодна, думал он. Шьет. И ножницы эти. Дейзи рядом с Клариссой показалась бы простенькой. И она сочтет меня неудачником, да я и есть неудачник в их понимании, в понимании Дэллоуэев. И еще бы, вне сомнения, он неудачник рядом с этим со всем – инкрустированный столик и разукрашенный разрезальный нож, дельфин, и подсвечники, и обивка на стульях, и старинные дорогие английские гравюры – конечно, он неудачник! Мне претит это самодовольство и ограниченность, думал он; все Ричард, не Кларисса. Только зачем понадобилось выходить за него замуж? (Тут появилась Люси, внося серебро, опять серебро, и до чего мила, стройна, изящна, думал он, покуда она наклонялась, это серебро раскладывая.) И так все время! Так и шло, думал он. Неделя за неделей; Клариссина жизнь; а я меж тем… подумал он; и тотчас из него будто излучилось разом – путешествия; верховая езда; ссоры; приключения; бридж; любовные связи; работа, работа, работа! И, смело вытащив из кармана нож, свой старый нож с роговой ручкой (тот же, готова была поклясться Кларисса, что и тридцать лет назад), он сжал его в кулаке.

И что за привычка невозможная, думала Кларисса. Вечно играть ножом. И вечно, как дура, чувствуешь себя с ним несерьезной, пустой, балаболкой. Но я-то хороша, подумала она и, снова взявшись за ножницы, призвала, словно королева, когда заснули телохранители, и она беззащитна (а ведь ее обескуражил этот визит, да, он ее выбил из колеи), и каждый, кому не лень, может вломиться и застать ее под склоненным кустом куманики, – призвала все, что умела, все, что имела – мужа, Элизабет, словом, себя самое (теперешнюю, почти неизвестную Питеру) для отражения вражьей атаки.

– Ну, а что у тебя происходит? – спросила она. Так бьют копытами кони перед сражением; трясут гривами, блестят их бока, изгибаются шеи. Так Питер Уолш и Кларисса, сидя рядышком на синей кушетке, вызывали друг друга на бой. Питер собирал свои силы. Готовил к атаке все: похвальные отзывы; свою карьеру в Оксфорде; и как он женился – она ничего об этом не знает; как он любил; и свою беспорочную службу.

– О, тьма всевозможных вещей! – объявил он во власти сомкнутых сил, уже несущих в атаку, и со сладким ужасом и восторгом, будто плывя на плечах невидимки-толпы, он поднял руки к вискам.

Кларисса сидела очень прямо; она затаила дыхание.

– Я влюблен, – сказал он, но не ей, а тени, встающей во тьме, которой не смеешь коснуться, но слагаешь венок на травы во тьме.

– Влюблен, – повторил он, уже сухо – Клариссе Дэллоуэй, – влюблен в одну девушку в Индии. – Он сложил свой венок. Пусть Кларисса что хочет, то с этим венком и делает.

– Влюблен! – сказала она. В его возрасте в галстучке бабочкой – и под пятою этого чудовища! Да у него же шея худая и красные руки. И он на шесть месяцев старше меня, доносили глаза. Но в душе она знала – он влюблен. Да-да, она знала – он влюблен.

Но тут неукротимый эгоизм, неизбежно одолевающий все выставляемые против него силы, поток, рвущийся вперед и вперед, даже когда цели и нет перед ним, – неукротимый эгоизм вдруг залил щеки Клариссы краской; Кларисса помолодела; очень розовая, с очень блестящими глазами, сидела она, держа на коленях платье, и иголка с зеленой шелковой ниткой чуть прыгала у нее в руке. Влюблен! Не в нее. Та небось помоложе.

– И кто же она? – осведомилась Кларисса. Пора было снять статую с пьедестала и поставить меж ними.

– Она, к сожалению, замужем, – сказал он. – Жена майора индийской армии.

И, выставляя ее перед Клариссой в столь комическом свете, он улыбался странно-иронической, нежной улыбкой. (Но все равно он влюблен, думала Кларисса.)

– У нее, – продолжил он деловито, – двое детишек – мальчик и девочка. Я приехал понаведаться у моих адвокатов насчет развода.

Вот они тебе, думал он. На, делай с ними что хочешь, Кларисса! Пожалуйста! И с каждой секундой жена майора индийской армии (его Дейзи) и ее двое детишек становились будто прелестней под взглядом Клариссы, словно он поджег серый шарик на металлическом блюде, и встало прелестное дерево на терпком соленом просторе их близости (ведь никто, в общем, не понимал его, никто так не знал его чувств, как Кларисса), их восхитительной близости.

Подольстилась к нему, одурачила, думала Кларисса. Три взмаха ножа – и ей совершенно ясна была эта женщина, эта жена майора индийской армии. Глупость! Безумие! Всю жизнь одни глупости. Сперва его выгоняют из Оксфорда. Потом он женится на девице, подвернувшейся ему на пароходе по пути в Индию. И теперь еще эта жена майора индийской армии. Слава Богу, она тогда ему отказала, не пошла за него замуж! Да, но он влюблен, старый друг, милый Питер влюблен.

– И что ты думаешь делать? – спросила она.

– О, адвокаты, защитники, господа Хупер и Грейтли из «Линкольнз инн», уж они-то найдут, что тут делать, – сказал он. И он положительно стал подрезать перочинным ножом себе ногти.

Да оставь ты ради бога в покое свой нож! – взмолилась она про себя, совершенно теряя терпение. Дурацкая невоспитанность – вот его слабость; совершенное нежелание считаться с тем, что ощущает другой, – вот что вечно бесило ее. Но в его-то возрасте – какая нелепость!

Знаю я все, подумал Питер, знаю, против кого я иду, подумал он и пробежал беспокойным пальцем вдоль лезвия. Кларисса, Дэллоуэй и прочая братия. Но я покажу Клариссе! – и вдруг, сраженный неуловимыми силами, ударившими по нему врасплох, он ударился в слезы. Он сидел на кушетке и плакал, плакал, ничуть не стыдясь своих слез, и слезы бежали у него по щекам.

И Кларисса наклонилась вперед, взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала – и она ощущала его щеку на своей все время, пока унимала колыханье, вздуванье султанов в серебряном плеске, как трепет травы под тропическим ветром, а когда ветер унялся, она сидела, трепля его по коленке, и было ей удивительно с ним хорошо и легко, и мелькнуло: «Если б я пошла за него, эта радость была бы всегда моя».

Для нее все кончилось. Простыня не смята и узка кровать. Она поднялась на башню одна, а они собирают на солнышке куманику. Дверь захлопнулась, кругом облупившаяся штукатурка и клочья от птичьих гнезд, и земля далеко-далеко, и тоненько, зябко долетают оттуда звуки (как когда-то в Лей-Хилле!), и – Ричард, Ричард! – взмолилась она, как, внезапно проснувшись, простирают руки в ночи – и получила: «Завтракает с леди Брутн». Он меня предал; я навеки одна, подумала она, складывая на коленях руки.

Питер Уолш встал, и подошел к окну, и повернулся к ней спиной, и туда-сюда порхал пестрый носовой платок. Он стоял, подтянутый, поджарый, потерянный, и лопатки чуть-чуть выдавались под пиджаком; он истошно сморкался. Возьми меня с собой, вдруг подумала Кларисса, будто он вот сейчас тронется в дальний путь, и сразу же, через миг, словно пьеса, напряженная и занимательная, кончилась, и за пять актов она прожила всю свою жизнь, и сбежала, прожила жизнь с Питером, и все теперь кончилось.

Теперь пора было уходить, и как дама в ложе собирает накидку, перчатки, бинокль и встает, чтоб идти из театра на улицу, так она поднялась с кушетки и подошла к Питеру.

Он же недоумевал и поражался тому, что по-прежнему в ее власти, поднося к нему шелест и звон, удивительно, что по-прежнему в ее власти, подходя к нему через комнату, возводить постылый тот лунный лик в летнее небо над террасою в Бортоне.

– Скажи мне, – и он схватил ее за плечи, – ты счастлива, Кларисса? Скажи – Ричард…

Дверь отворилась.

– А вот и моя Элизабет, – сказала Кларисса с чувством, театрально, быть может.

– Здравствуйте, – сказала Элизабет, подходя.

Удар Биг-Бена, отбивающий полчаса, упал на них с особенной силой, будто рассеянный баловень стал играть без всякого смысла гантелями.

– Здравствуй, Элизабет! – крикнул Питер, сунул нож в карман, быстро подошел, не глядя в лицо, сказал: – До свиданья, Кларисса, – быстро вышел из комнаты, сбежал по лестнице, отворил парадную дверь.

– Питер! Питер! – кричала Кларисса, выходя за ним следом на лестницу. – Прием! Мой прием не забудь! – кричала она, стараясь перекрыть рев улицы, и, заглушаемый шумом машин и боем всех часов сразу, ее голос: «Мой прием не забудь!» – очень тоненький, хрупкий и дальний – долетел до Питера Уолша, затворявшего дверь.

Мой прием не забудь, мой прием не забудь, повторял Питер Уолш, выходя на улицу, повторял, скандируя, в лад отвесно текущим звукам Биг-Бена, отбивающего полчаса. (Свинцовые круги разбегались по воздуху.) Ох уж эти приемы, думал он. Клариссины приемы. Зачем ей эти приемы? – думал он. Не то чтоб он осуждал ее или, скажем, вот этого господина во фраке с гвоздикой в петлице, вышагивающего навстречу. Нет, только один-единственный человек на свете так влюблен. А вот и этот счастливчик собственной персоной, вот он вам – в зеркальной витрине автомобильного магазина на Виктория-стрит. За плечами – целая Индия; долины, горы; эпидемии холеры; округ вдвое больше Ирландии; и все надо было решать самому – ему, Питеру Уолшу, который наконец-то, впервые в жизни, влюблен. А Кларисса как будто жестче стала, думал он, и чуть сентиментальна вдобавок, сдавалось ему, пока он разглядывал огромные автомобили, на которых можно выжимать – сколько миль, на скольких галлонах? Он ведь не полный профан в механике: ввел у себя в округе плуг, выписал тачки из Англии, только кули не захотели, а что про все это знает Кларисса?

И то, как она сказала: «А вот и моя Элизабет!», его покоробило. Почему не просто: «Вот Элизабет»? Неискренне. И самой Элизабет не понравилось. (Тут последние раскаты гулкого голоса сотрясли воздух; полчаса; еще рано; всего половина двенадцатого.) Он-то понимает молодых. Она ему нравится. А Кларисса всегда была холодновата, думал он. В ней всегда, даже в девочке, была скованность, которая с годами обращается в светскость, и тогда – все, тогда – все, думал он, и, не без тоски вглядываясь в зеркальные глубины, он начал беспокоиться, не было ли ей неприятно его неурочное вторжение; вдруг устыдился, что свалял дурака, ударился в слезы, расчувствовался, выложил ей все – как всегда, как всегда.

Как туча набегает на солнце, находит на Лондон тишина и обволакивает душу. Напряжение отпускает. Время полощется на мачте. И – стоп. Мы стоим. Лишь негнущийся остов привычки держит человеческий корпус, а внутри – ничего там нет, совершенно полый корпус, говорил себе Питер Уолш, ощущая бесконечную пустоту. Кларисса мне отказала, думал он. Он стоял и думал: Кларисса мне отказала.

Ах, сказала церковь Святой Маргариты, как хозяйка, войдя в гостиную с последним ударом часов, когда гости уже в сборе. Я не опоздала. Нет-нет, сейчас ровно половина двенадцатого, говорит она. И хотя она совершенно права, голос ее (она ведь хозяйка) вам не хочет навязывать свои характерные нотки; он подернут печалью о прошлом и какими-то нынешними заботами. Сейчас половина двенадцатого, говорит она, и звон Святой Маргариты попадает в тайники сердца, и прячется, и уходит все глубже и глубже, покуда кругами расходятся звуки, как что-то живое, чтобы довериться, раствориться и успокоиться в дрожи восторга – будто Кларисса сама, подумал Питер Уолш, в белом платье спускается вниз с ударом часов. Это Кларисса сама, подумал он, замирая от глубокого чувства и какого-то удивительно четкого, но загадочного воспоминания о Клариссе, будто звон этот давным-давно залетел в комнату, где они сидели вдвоем, залетел в минуту их немыслимой близости, подрожал над ним и над нею и, как добывшая меда пчела, улетел, отягченный минутой. Но в какую комнату? И в какую минуту? И почему бой часов вдруг обдал его счастьем? Но когда звон Святой Маргариты стал таять, он подумал: «Она же была больна» – и в звоне были усталость и боль. Да-да, что-то с сердцем, он вспомнил. И неожиданно резкий последний удар вызвонил смерть, всегда стерегущую смерть, и под этот удар Кларисса падала замертво на пол гостиной. «Нет-нет! – закричало сердце Питера. – Она жива еще! Я еще не стар!» – кричало его сердце, и он зашагал вверх по Уайтхоллу так, словно могучее, бесконечное, под ноги ему скатывалось его будущее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/virdzhiniya-vulf/missis-dellouey-kupit

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити